И.В. Кирия, канд. филол. наук, доктор информации и коммуникации (Франция), профессор кафедры медиаменеджмента и медиабизнеса Отделения деловой и политической журналистики Государственного университета—Высшей школы экономики, *e-mail*: ikiria@hse.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИЙ

Данная статья — синтез нескольких работ автора, опубликованных за рубежом, представляет собой попытку рассмотрения социальных причин и социальных оснований той роли, которую российское государство и Российские аудитории играли по отношению к медиа. С нашей точки зрения, ситуация в сегодняшних российских медиа не может рассматриваться вне контекста социальной структуры российского общества и роли, которую играет государство по отношению к обществу.

Ключевые слова: *культура, медиа, Россия, модель, социум, публичность, история, коммуникации, власть, рынок, стратификация, аудитория.*

This paper represents a synthesis of few working papers of the author, published in various mostly foreign publications. In the paper the author examines social consequences and social prerequisites for specific role that Russian state and Russian audiences are playing in the media. In our opinion the situation in Russian media cannot to be perceived outside the context of social structure of the Russian society and the role of the state in this society.

Key words: *culture, media, Russia, model, society, publicity, history, communications, power, market, stratification, audience.*

Изучение коммуникаций и массмедиа в конкретном социальном мире невозможно мыслить вне контекста. Так сложилось, что в традиции изучения зарубежной системы СМИ или российской системы СМИ мы фокусируемся исключительно на самой этой системе в отрыве от тех властных и социальных отношений, в которые эта система встроена. Именно поэтому представляются не вполне корректными теории "модернизации" российской медиасистемы, о которых довольно часто можно было прочитать в книгах ведущих зарубежных теоретиков постсоветской трансформации. Работы о глобализации и о том, что российские СМИ встраиваются в глобальный рынок, о том, что российская модель медиа вестернизируется и постепенно усваивает "зарубежные уроки", были квинтэссенцией такого подхода, однако сами по себе они исходили из довольно спорной изначальной

посылки. Они предполагали, что единственным логичным путем российской медиасистемы является ее уподобление западной модели. При этом, однако, существовали некоторые "лакуны" в этой теории, которые видели сами теоретики. Лакуны были связаны прежде всего с тем, что помимо глобализации, т.е. переноса зарубежных матриц, использовались и частично местные механизмы контроля, давления и т.д. Чтобы вписать эти лакуны в свою "модернизационную теорию", они воспользовались термином "глокализация". В этой парадигме мыслит Терхи Рантанен [Рантанен, 2004].

Логичным продолжением "модернизационного дискурса" стали произносимые уже на индустриальных площадках речи о "развитии медиарынка", о медиаэкономике как об "одном из самых сильных секторов несырьевой экономики" и т.д. При этом, однако, ни давление властей, ни система регулирования, ни рынок "информационного обслуживания" ("джинсы"), ни аффилированность частных собственников медиа представителям власти, ни система прямого государственного финансирования и иных видов привилегий не воспринимались как структурные элементы медиаландшафта. Отсюда и отношение к ним, как к "пережиткам прошлого", как к "анормальным элементам системы, которые должны умереть".

На базе этого фундамента родился еще один активно эксплуатируемый миф — российская медиасистема (как и общественная система) не сформировалась и находится все еще в состоянии "перехода" (transition), т.е. предполагается, что система еще не сложилась, что мы еще не перешли к "демократии", к "рыночной экономике", но это, дескать, нормально, потому как российским реформам еще мало лет.

Мы попытаемся предложить альтернативный взгляд на проблему трансформации российской коммуникационной модели. С нашей точки зрения, любая модель коммуникации воспроизводит ту социальную модель, в которой она существует. В противном случае мы имеем дело с ситуацией, когда модель медиа не соответствует общественной модели, что приводит к формированию "параллельных медиа", что мы наглядно наблюдали в позднем периоде Советского Союза. С нашей точки зрения, система как раз достаточно четко сложилась, а общественные потрясения 1990-х плавно переместились в эпоху "путинской стабильности". И в этом как раз новизна научного взгляда, предполагающего вопрос, который теоретики "модернизационного" пути развития российской медиасистемы даже не помышляли задать перед тестированием своих гипотез: "А что если та система сочетания рыночного и нерыночного, западного и советского, естественного и противоестественного сама по себе является стабильной, а не переходной?" Что если западная матрица "впиталась" в другую социально укорененную российскую матрицу, растворилась в ней и подчинена ее целям?

С нашей точки зрения, сегодняшняя модель медиа связана с социальной моделью общества и является исторически укорененной, соответствующей исторической традиции существования коммуникации в контексте властных и социальных отношений. Эта модель, с нашей точки зрения, сформирована задолго до советского периода, а советская коммуникационная модель стала ее логичным продолжением. Этот тезис чрезвычайно важен, так как сложился еще один исторически опасный миф, предполагающий, что вся специфичность нашей социальной и коммуникационной модели состоит в ее "советскости". В связи с этим достаточно уничтожить пережитки советского времени, в результате чего страна и ее армия медиа вернутся на логичный путь развития медиа и технологий по западному пути, по которому они якобы следовали до 1917 г.

Апологеты этого мифа исходили из следующих посылок:

- Отсутствие рынка в советское время — на самом деле большим вопросом остается его существование в досоветский период, во всяком случае, в классическом понимании рынка как свободных актов купли-продажи.
- Патерналистская роль государства — как будто ее не было в досоветский период, а медиа были тотально свободны?
- Пропагандистская функция медиа в советской системе — опять же под большим вопросом, насколько эта функция свойственна чисто советскому периоду, а не является традиционной, в том числе для царских времен.

С нашей точки зрения, Россия не может разрушить эти "советские факторы", потому что они являются укорененными в социальном сознании задолго до советского периода и соответствуют общественной конструкции.

Общественная модель и ее особенности: противопоставление двух систем

Исторически так сложилось, что российское общество и его специфику рассматривают в контексте противопоставления двух идеологических, общественных, экономических систем: системы "либеральной" и системы "деспотичной" или "экономики конкурентной" и "экономики изначально противостоящей конкуренции". И здесь мы можем выделить примерно три направления, по которым это противостояние прослеживается в литературе:

- Властная система (либеральная и соответственно антилиберальная).
- Экономическая система (конкурентная и соответственно заведомо неконкурентная).

- Социальная структура и ее стратификационные особенности (соответственно сословная и классовая).

Если говорить о властной системе, то в парадигме противостояния мыслит историк и социолог Александр Янов, который предполагает, что Россия, как многие считают, никогда не пыталась "импортировать" европейский либеральный проект, который неминуемо наталкивался на наш деспотичный быт. С его точки зрения, либеральная и "холопская" традиция исторически всегда соседствовали в России, в этом смысле либеральная является в такой же степени русской, в какой русской является "холопская". Янов указывает на то, что эта двойственность возникла не позже XII в. в период распада Киево-Новгородской Руси, "когда князья практически беспрерывно воевали друг с другом, и холопы, управлявшие княжескими доменами, насмерть враждовали с вольными дружинниками князя. Продолжалась эта непримиримая вражда столетиями. Отсюда и пошли, резонно предположить, в русской политической культуре две взаимоисключающие — и примерно, равные по силе — традиции" [Янов, 2009].

Ученый изучает историю взаимоотношений между этими двумя традициями начиная с периода Киево-Новгородской Руси и победы иосифлян, т.е. сторонников реакционной линии при Иване Грозном, и доходит до нашего времени, что подробно отражено в трехтомнике "Россия и Европа. 1462–1921" [Янов, 2009]. Как утверждает Янов, Россию нельзя сравнивать с Турцией, которая была исключительно деспотическим государством (имперским) и стала государством "национальным" в результате революции Мустафы Кемаля, что привело отнюдь не к либерализации, а к установлению жесточайшей диктатуры [там же]. В нашей стране, по мнению Янова, укоренены обе традиции (либеральная и имперская), что в конечном счете приводит к тому, что вся российская история представляет собой чередование периодов послаблений и реакций, в результате которых обе традиции, как бы уравновешивая друг друга, ведут борьбу.

Однако "холопская" линия всегда одерживала верх в связи с тем, что начиная с Ивана Грозного, который, как утверждает историк, разорил Россию дотла, мы стали безнадежно отставать от Европы (чего не было до Грозного) и были вынуждены все время ее догонять.

Если говорить о характере сочетания подобных факторов в экономической системе, то здесь мы сталкиваемся с феноменом "российской экономической ментальности", которую анализирует ряд социологов и наиболее полно раскрывает ее сущность Елена Балабанова. С точки зрения Балабановой, можно выделить несколько факторов, которые характеризуют российскую экономическую ментальность: коммунальная производственная среда, доминирование справедливости над "прибылью", сильная роль государства, специфические отношения собственности [Балабанова, 2001]. Коммунальная производ-

ственная среда была связана с большими географическими пространствами и специфическим климатом, когда борьба за территорию проживания в принципе была неактуальна, но необходима была коллективная мобилизация для защиты от нападений и ведения хозяйства в условиях короткого и холодного лета [там же, с. 68]. Кроме того, для подтверждения этого тезиса Балабанова обращается к трудам всемирно известного экономиста Ф. Хайека, считавшего, что в условиях достатка территории отпадает прямая необходимость вводить разделение труда и повышать его эффективность. Балабанова пишет: "Если в Средние века на Западе интенсивная урбанизация способствовала индивидуализации общественной жизни, то на Руси неразвитость городов, большой удельный вес натурального хозяйства и неденежного обмена законсервировали коллективистские формы организации людей" [там же, с. 69]. Необходимость быстро посеять зерно, быстро его убрать в условиях короткого лета и т.д. требовала существенной экстремальной мобилизации ресурсов на короткий промежуток времени, тогда как оставшееся время хозяйство, наоборот, велось крайне медленно. Такой неравномерный и одновременно мобилизационный характер отмечает и Овсей Шкаратан, также относя эти факторы к природно-климатическим [Шкаратан, Ильин, 2006]

Общинное (коллективное) хозяйство в этих условиях вводило систему редистрибуции ресурсов и реципрокный характер дистрибуции, т.е. община использовала уравнительные практики перераспределения (коллективная помощь, дарение излишков), ожидая от того члена общины, которому помогали, взаимных действий в будущем (реципрокность).

Доминирование справедливости над прибылью Балабанова связывает с религиозной традицией, характерной для восточнохристианских народов, у которых труд является способом искупления за первородный грех, а на первое место выходит "труд духовный". Отсюда специфическое отношение к таким ценностям, как собственность и богатство, а также отношение к бедности. Собственность и богатство сами по себе не воспринимаются как результат труда, а как результат "везения", тогда как бедность, а точнее помощь беднякам становится важнейшей христианской традицией.

Существование сильного и централизованного государства в условиях рассредоточения земель было необходимо для защиты от внешних врагов. Кроме того, государство играло исторически значимую роль, обеспечивая "модернизацию" России сверху в условиях экономической отсталости. Такая модернизации всегда была делом "меньшинства", тогда как институты общества не всегда соответствовали имплантированным заимствованным внешним формам [Балабанова, 2001, с. 71]. Все это приводило к насилию над массами, а это порождало нестабильность положения населения и отказ планировать

свою жизнь надолго, кроме того, это сформировало четкую привязанность индивида к государству через систему редистрибуции благ, характерную для общины.

В этих условиях собственность и наделение правами собственности (например, в дворянстве) были зависимы от государства (дворянин имел собственность от государства в обмен на службу). По сути, у субъекта отсутствовала вся полнота распоряжения собственностью, тогда как произвол государства играл в этом процессе "первую скрипку". В этих условиях важным становились не сами права собственности, сколько контроль над их распределением. "Незащищенность собственников, с одной стороны, и возможность быстрого обогащения — с другой, были связаны с повторяющимися перераспределениями собственности в процессе осуществления запаздывающих модернизаций и смен политических режимов", — пишет Балабанова [там же, с. 73].

В этих условиях советский проект становится логичным агрегатором этих экономических традиций. Собственно, в этом ключе мыслит известный социолог Ольга Бессонова, считающая, что "российская экономика советского периода не есть продукт прерывания естественного рыночного развития, не является она и экспериментом по планированию, поскольку она — закономерный результат эволюционного развития экономических отношений в России" [Бессонова, 1994, с. 37]. Она предлагает рассматривать всю экономическую традицию России как "раздаточную экономику", базовым процессом в которой является не механизм "купли-продажи", а механизм "сдач-раздач".

Изучая исторические традиции "дач", "жалования", "кормления", с одной стороны, и "оброков", "полюдья" и "податей" — с другой, ученый приходит к выводу, что исторически в России сформировалась экономическая модель сдаточно-раздаточных отношений, построенных по принципу: "от каждого — по дати, каждому — по чину" [там же, с. 40]. В этой модели роль перераспределителя всегда выполняло государство, которое балансировало объемы сдач (т. е. взимаемых средств и ресурсов с хозяйств) с количеством раздач (количеством ресурсов и привилегий, выделяемых государством подданным). Все это привело к формированию двойной системы цен еще во времена царя Михаила, когда, играя на несоответствии цен "сдаточных" и "раздаточных", государство осуществляло перераспределение. Логичным продолжением такой модели стала советская плановая экономика.

Таким образом, как утверждает Бессонова, сложилась специфическая "служилая" система труда, когда "одни должны были служить по хозяйственным и военным делам, другие — кормить тех, кто служит" [там же, с. 43]. Соответственно и владение постепенно замещалось "раздачей земли за службу", что сформировало специфические отношения собственности.

В такой модели, безусловно, было место нераздаточным отношениям, которые условно напоминали рыночные и представляли собой ничто иное, как обмен "дачами", т.е. тем, что получено в результате раздач (в этой парадигме происходил обмен квартирами, например, в Советском Союзе). Поскольку, как пишет Бессонова, внешне такой обмен трудно отличить от рыночного, часто периоды распространения таких отношений в России путают "с развитием капитализма" [там же, с.46].

Собственно, такой феномен "нерыночности" экономики и чередования "рыночных" элементов с "нерыночными" можно встретить и в научно-популярной литературе. Чего стоит хотя бы книга Александра Прохорова "Русская модель управления", в которой автор указывает на двойственность управления в России, которое, с одной стороны, совершенно не нацелено на эффективность (т. е. на эффективное распоряжение ресурсами и планирование), а с другой– вполне результативно и в целом достигает поставленных целей. Это происходит, по мнению Прохорова, при помощи сочетания двух механизмов и двух состояний системы: стабильного и нестабильного. В стабильном состоянии системы управление осуществляется методом административного распределения (в этом мы видим созвучность идей с Бессоновой). В нестабильном состоянии, когда необходимо мобилизовать ресурсы, система становится агрессивно-конкурентной [Прохоров, 2007]. Однако эта конкуренция не представляет собой конкуренцию независимых хозяйственных субъектов, а искусственно порожденную конкуренцию "администраторов". Таким образом, двойственность экономической модели, ее квазирыночный характер и чередование периодов рыночного и нерыночного управления представлен достаточно широко в литературе.

Наконец, последний элемент различия касается структурной, а точнее стратификационной, системы общества, которая, по утверждению многих ученых, формировалась и сформирована с опорой на иные принципы, нежели за рубежом. Характерным трендом здесь становится указание на нехарактерный для капитализма внеклассовый характер стратификации.

Некоторые исследователи эту стратификацию рассматривали через призму экономической формации. К примеру, Андрей Рябов прямо указывает на "феодальность" модели социальной организации в современной России и на то, каким образом она воспроизводит архаичные, свойственные феодальной модели элементы [Рябов, 2008]. Как считает автор, феодальная архаика связана с тем, что легитимация власти через демократические ценности провалилась, в результате чего правящие элиты начали искать источники общественного идеала в далеком прошлом, так как возвращение к советской эпохе противоречит стратегическим интересам. Тут, безусловно, большой вопрос — на-

сколько российская власть артикулирует эти модели как модели далекого прошлого, скорее как раз как модели недавнего советского прошлого. Отсюда и критика "лихих девяностых". К периоду начала ренессанса феодализма Рябов относит победу бюрократии над частью постсоветской элиты и усиление фактора личной зависимости в практике властных отношений: «В их основе возможность вышестоящего должностного лица распоряжаться тем или иным ресурсом (финансовым, административным и т.д.) и частично делегировать распоряжение им своим "клиентам". За это "клиент" наподобие феодального вассала обязан верой и правдой служить своему "сеньору"» [там же, с. 8].

Стержнем феодальной архаики, как считает Рябов, является военно-служилая бюрократия, которая воплотила феодальный принцип личной зависимости в номенклатурной системе властных отношений, что в конечном счете привело к установлению системы, в которой мерилом успеха человека и его материального благосостояния стал вклад в служение государству (воплощение давнего феодального принципа — земля в обмен на службу). Это в свою очередь привело к переоценке института собственности, которая стала восприниматься как вознаграждение за "службу", выдаваемое государством (институт раздач!). А, следовательно, государство стало чувствовать себя легитимным этого вознаграждения лишать и перераспределять его, изымая у одних и отдавая другим.

Чуть в менее категоричном и более нюансированном тоне выступают социологи, указывающие на воспроизводство некоторых особенностей социальной стратификации, характерной для феодальных обществ. Они критикуют официальную версию советских социологов, согласно которой в СССР существовало два класса (различающиеся по отношению к собственности государственный рабочий класс и коллективно-колхозное крестьянство) и прослойка между ними (интеллигенция) и указывают на то, что советское общество было скорее обществом иерархических слоев, которые могут быть ранжированы в соответствии с более высоким или более низким статусом [Шкаратан, Ильин, 2006]. Слоевая структура зачастую получает свое продолжение в понятии "сословный": "Сословная структура общества предполагает неравенство граждан перед законом, традиционное или введенное внешним образом. Неравенство в первую очередь заключается в том, что сословия имеют различающиеся права и обязанности перед государством и несут разные государственные повинности" [Кордонский, 2008, с. 26]. По утверждению социолога Сергея Кордонского, для Имперской России было характерно именно такое сословное общество, в котором права и обязанности перед государством были жестко иерархизированы, а целые гигантские группы населения оказывались изолированы и были практически бесправны. Строго говоря, такая модель ничем не отличалась от сословных обществ Западной Европы,

распад которых начался в XVIII в. Однако на протяжении XIX–XX вв. Россия продемонстрировала существенное отличие в социальном развитии. Если в Европе развитие рыночных отношений постепенно вытесняло сословную социальную организацию, которая замещалась классовой (т.е. ранжированной по отношению к потреблению, но равной в правах), то в России во время социальных потрясений и революций, происходивших в XIX, XX и XXI вв., происходила делегитимация старых сословий, формирование новых и замещение старых сословий новыми [там же, с. 43].

Сословная модель перекочевала в советский период, в котором, по утверждению Кордонского, можно было выделить пять групп сословного типа, различающихся в правах и обязанностях (к примеру, дворянское происхождение автоматически ставило крест на карьере и помещало человека в более низшее сословие): номенклатура, рабочие, специалисты и служащие, крестьянство, маргинальные группы.

Овсей Шкаратан тоже указывает на неравенство этих групп в правах, но говорит о советском обществе как о слоевом. При этом, однако, он вводит понятие "этакратизм" и предлагает рассматривать СССР как самостоятельную социально-экономическую систему. Иерархически слои в этом обществе выстроены в зависимости от их позиции по отношению к власти. А власть же обладает имманентной ей специфической функцией — функцией собственности, в связи с чем права не универсальны [Шкаратан, Ильин, 2006, с. 66]. Однако при этом, в отличие от открытых диктатур, власть создает иллюзию эгалитарности и равенства прав, классовой системы при помощи активного "мифотворчества".

Как видим, многие ученые и не только из различных предметных областей, указывают на этот структурный дуализм, присущий российской социально-экономической системе — противостояние и переплетение двух общественных типов и их столкновения.

Государственная инициатива

Государство и его модернизационная политика, насаждаемая сверху, была мотором инноваций в сфере коммуникации, т.е. государству принадлежала главная инициатива в развитии коммуникационных технологий, которые встраивались в государственные интересы.

Первопечатник Иван Федоров работал при дворе Ивана Грозного по приглашению самого царя. Власть осознала необходимость создания печатных книг, что было продиктовано стремлением унифицировать религиозные книги и не допустить возникновения ересей и разночтений в переписных книгах, а также в целях христианизации новой захваченной территории (Казанского ханства). Во всяком случае, на эту

проблему существует указание в Стоглаве [Жирков, 2001, с. 10]. В этом смысле цели использования печатных книг мало отличались от целей европейских печатников (которые активно способствовали использованию "святого искусства" для насаждения христианства в Крестовых походах), но инициатива по открытию печатных домов кардинально отличалась. В Европе печатные прессы преимущественно относились к разрозненным частным инициативам, что не мешало местным властям (особенно в протестантских землях) ими активно пользоваться [Eizenstein, 1983]. Однако на Руси, как видим, инициатива изначально принадлежала властям, которые самостоятельно приглашали печатников (преимущественно из-за рубежа) для выполнения государством же определенных задач. Следующая традиция — инструментализация использования коммуникации и подчинения ее властной модернизационной инициативе. Когда созданное первопечатниками "божественное ремесло" вдруг стало способствовать в том числе и распространению ересей, царь вполне легитимно для того, кто пригласил первопечатников, изгоняет их вместе с их "божественным искусством". Последующие типографские ателье появлялись время от времени при дворе и так же произвольно исчезали, что не обеспечивало стабильности производства. Всего в XVI в. было произведено 19 названий книг со средним тиражом 1000 экз. [Тараканова, 2000]. К XVIII в. средний объем производства составлял 1–2 названия в год [там же], тогда как в 1701 г., к примеру, во Франции годовой объем составлял порядка 2000 названий [Barbier, Bertho Lavenir, 2000]. В Европе в это время уже шел процесс десакрализации книги, тогда как в России организация общества и связь светской власти с религиозной не позволяли медиа развиваться в этом направлении.

Подчиняясь той же логике, происходило и создание Петром I в 1711 г. первой газеты "Ведомости", которая издавалась тиражом 1000 экз., тогда как почти в это время в Великобритании выходят газеты с тиражами в десятки раз большими [История печати, 2001, с. 125]. В данном случае мы опять имеем дело с государственной инициативой и вписыванием инструмента коммуникации в цели и задачи власти. Если сравнивать эту модель с появившейся на 100 лет раньше французской "Ля Газет", то во Франции инициатива все-таки была частной и принадлежала Теофрасту Ренодо, который выхлопотал у короля привилегию на издание газеты. В нашем случае вместо привилегии частному лицу власть самостоятельно "сверху" создает газету.

По модели государственной инициативы и "госзаказа" было организовано дорожное строительство в более поздний исторический период. Активное развитие дорожной сети при Александре I отвечало военной логике и необходимости вести войны на Северном Кавказе, а не экономической необходимости обеспечивать обмен. То же самое происходило в случае с развитием железнодорожной сети. В связи с

тем, что в железнодорожном транспорте правительство Николая I усмотрело возможность экстенсивного развития, т.е. транспортировки полезных ископаемых из Сибири и массовой транспортировки войск, то проекты по развитию дорожной сети постепенно уступали место проектам по развитию железных дорог. Если между 1840 и 1860 г. было построено 266 км шоссейных дорог, то между 1860 и 1867 — 105 км, а между 1867 и 1876 ни одного километра шоссейной дороги построено не было (данные с официального интернет-сайта дорожного ведомства).

Таким образом любой коммуникационный проект рассматривался исключительно исходя из нужд власти и государства, а не общественного и экономического развития. Модернизационная роль государства в расширении сети железных дорог тоже показательна, так как она обнажила дебаты между "либеральной линией" и "холопской". Дебаты между интендантом железных дорог Павлом Мельниковым, выступавшим за государственное управление железными дорогами, и министром финансов Рейтерном, предпочитавшим частное строительство с целью ускорения его темпов, напомнили дебаты между "либеральным" и "холопским" направлениями по поводу реформы 1861 г., описанные в работе Янова. В конечном счете выиграл западно-ориентированный подход, в связи с тем что Александр II был категорически против "влезания государства в долги". Однако аргументы Мельникова как раз касались модернизационной логики, как было описано в его докладе, государство получит косвенные выгоды от развития торговли, а не только прямые от возможности перевозить полезные ископаемые [Георгиевский, 1893, с. 19].

Модернизационной же логике государственной инициативы подчинялось и строительство сетей телеграфной и телефонной связи, которые тотально строились при участии иностранных компаний, приглашенных царем. Так, например, в 1852 г. Николай 1 лично приглашает Вернера Сименса в Санкт-Петербург и выдает ему концессию на создание электрического телеграфа. Вообще вся инфраструктура строилась тогда по системе концессий, что позволяло государству в любой момент экспроприировать коммуникационную инфраструктуру.

Государственная модернизация и подчинение коммуникаций целям такой модернизации повлияли также на формирование той роли, которая изначально закреплялась за коммуникациями. Эта роль почти никогда не рассматривала коммуникации как агента экономических изменений и как драйвера экономического развития. Эта логика предполагала, что первым делом строились именно представительские, а не торговые пути (т.е. дороги для перемещения царя со свитой), военные (как дорожная сеть на Северном Кавказе), а не пассажирские дороги (т.е. не предназначенные для обеспечения мобильности трудовых сил).

Как видим, медиа изначально были агентами государственной модернизации и изначально были встроены во властные отношения. Отсюда и патерналистский характер власти по отношению к СМИ, жесткий цензурный аппарат и восприятие СМИ как инструмента модернизации, а не как института гражданского общества, и уж тем более бизнеса. Эта традиция в советское время воплотилась в известную ленинскую формулу о том, что газета — коллективный агитатор и организатор, в результате чего СМИ были полностью встроены в структуру государственной вертикали. В этой же парадигме происходит модернизация социальных институтов, произошедшая в конце 1980-х гг., когда гласность как политика СМИ активно навязывалась сверху [Засурский И., 1999]. Наконец, в этой же парадигме действует власть сегодня, обеспечивая при помощи СМИ сопровождение "укрепления властной вертикали", что воплощается в том числе в укреплении и совершенствовании форм контроля СМИ государством и его иерархиями.

В поисках "общественной сферы"

Специфическая стратификационная модель повлияла на модель вовлечения граждан в публичные дебаты, сделав эти дебаты узкоспециальными и превратив их в удел "высоколобой интеллигенции". В этой системе обычные граждане были долгое время исключены из диалога, что приводило к тому, что пресса не могла развиваться по "массовому" сценарию. Если, как пишет Хабермас, в европейских государствах в XIX в. параллельно с развитием публичной политики и введением всеобщих политических прав развивается институт согласования интересов власти и общества, так называемая "общественная сфера", представленная преимущественно прессой (в особенности — массовой прессой) [Habermas, 1989], то в России такого процесса, очевидно, не могло происходить. Причин этому по меньшей мере две: отсутствие политических прав у населения, что изначально не делало СМИ полезными и востребованными людьми, и высокий процент неграмотного населения. Безусловно, что один фактор связан с другим — т.е. неграмотность крестьян не была причиной отсутствия массовой прессы, а наоборот, бесправность крестьян была истинной причиной их неграмотности (в связи с тем, что в сословном обществе власть не заинтересована в просвещении населения), что в свою очередь помешало развитию массовых СМИ.

Массмедиа были встроены в систему сословного общества, в котором больше половины населения было бесправным. Из 67 млн человек в 1859 г. 71% (или 90% активного населения) составляли крестьяне, из которых примерно половина (34%) приходилась на крепостных и около 38% на так называемых "государственных" [Федоров, 1966],

т.е. проживающих на государственной земле (в этом смысле советская модель хозяйствования и огосударствления экономики воспроизводила этатистскую модель периода империи). Таким образом 90% населения были лишены изначально каких-либо политических прав, а 62% населения накануне Первой мировой войны были неграмотными [Миронов, 2000].

В этой системе сословного общества массовая коммуникация не могла выполнять политическую функцию, так как по определению ничего не решала и не могла решать. Крестьянское сословие не представляло в этой системе общества референтную группу и никак не имело возможностей влиять на политическую жизнь. Если жители Европы в этот период имели политические права, что фактически требовало включения этой входящей в публичное поле группы в информационную среду, то в России большие группы людей оставались в значительной степени изолированными от власти и от их решения ничего не зависело.

Такая ситуация напрямую отразилась на медиаландшафте России в XIX в. Если европейская пресса в этот период формирует современную бизнес-модель прессы (продажи издания и реклама) и развивает информационную составляющую, то в России в этот период пресса является способом выражения интересов и публичных дебатов для узкой прослойки окололитературных кругов. В этом смысле под вопросом оказывается сам по себе термин "общественная сфера" (ибо Хабермас под оной не имел в виду узкую прослойку населения). Основной темой дебатов в прессе становится крестьянский вопрос, что способствовало развитию прессы как "инструмента вбрасывания мнений", но никак не развивало ее информационную функцию. Н. Бердяев пишет, что весь XIX в. в русской литературе стал веком "ожидания революции", когда литературная традиция жила нагнетанием страстей и напряжения в общественных отношениях. Начиная с Гоголя русская литература сама по себе становится "поиском правды" [Бердяев, 1990]. В этот период происходит политизация русской литературы, которая выплескивается на страницы газет и журналов, издаваемых преимущественно деятелями этой самой русской литературы. Собственно, четкое деление самой прессы в зависимости от политических течений, на которые была расколота русская литература, свидетельствует об этой спайке "литературы" и "журналистики": "славянофилы" издавали "Москвитянин" и "Московский наблюдатель", а "западники" позднее создадут "Отечественные записки".

Под большим вопросом остается возникновение "общественной сферы" и после 1905 г. Хотя формально после трагических событий этого года власть идет на некоторые уступки гражданскому обществу, закрепленные в "Манифесте об усовершенствовании государственного порядка", в частности провозглашены свобода совести, свобода

слова, свобода собраний и союзов, но это не приводит к трансформации "общественной сферы".

По сути, создана "декорация" свободы печати, однако временные правила периодической печати, наоборот. достаточно жестко регламентируют критику государственного устройства, запрещают критиковать монархический режим и по сути сохраняют режим цензуры в регионах, давая послабления в крупных городах. Напомним, что в то время в городах живет лишь 10% населения страны [Рашин, 1958]. В этот период при всем наличии законодательного запрещения цензуры акцент смещается на "наказания". В результате только с 22 октября по 2 декабря 1905 г. в Москве и Петербурге уголовные преследования против прессы возбуждались 92 раза [Жирков, 2001, с. 191].

Здесь мы наблюдаем традиционное отношение власти к гражданским свободам и свободе прессы, в частности отношение, которое можно выразить словом "камуфлирование", т.е. создание внешних атрибутов и внешних проявлений свобод при наличии эффективных более скрытых механизмов их подавления. Однако главным является лишь то, что реформы начала XX в. мало меняют саму структуру общества. Известный историк Миронов хотя и пишет, что реформы привели к тому, что все сословия юридически утратили свои сословные права, в то же время указывает на то, что сословная парадигма не была ликвидирована психологически и фактически [Миронов, 2000].

В конечном счете российское общество было в значительной степени аграрным (в связи с тем, что 90% жило в деревне), а население все в значительной степени оставалось привязанным к земле, так как 70% предприятий находились за пределами городов, что не способствовало мобильности рабочей силы [Рашин, 1958].

"Общественная сфера" в таком обществе была представлена узкой прослойкой литературной и окололитературной интеллигенции, которая вела полемику в собственных печатных изданиях, однако в эту полемику не были вовлечены представители общества не только в связи с отсутствием у них политических прав, но и по причине элементарной неграмотности.

Несмотря на структурное отличие такого общества от общества советского (которое к середине века построило новую образовательную модель), существование "узкой" публичной сферы станет "визитной карточкой" советской, а потом российской прессы. В СССР такой узкой публичной сферой, в которой небольшое количество вовлеченных в дебаты вели диалог, стала "параллельная публичная сфера", формирующаяся за пределами государства в приватном пространстве (в неформальных диссидентских кругах). В современном обществе к такой узкой сфере можно отнести оппозиционные СМИ, ставшие изолированным информационным пространством.

Специфика советского коммуникационного контроля

Будучи далеки от взглядов западных исследователей-советологов, рассматривающих СССР как специфический тип государства и видящих специфику современных медиа исключительно в наследии советской эпохи, мы все же должны указать на ряд специфических черт, присущих советской коммуникационной системе. С нашей точки зрения, эти черты являются унаследованными и в этом смысле продолжают досоветскую традицию. С другой стороны — сочетание этих черт и специфическая система встраивания этих исторически унаследованных черт в систему администрации Советского государства сформировали особенный тип контроля, на котором нам необходимо остановиться. В других работах мы уже называли такой контроль "коммуникационным контролем" [Kiriya, 2004] в связи с тем, что в советском типе социального контроля коммуникации играли ключевую роль.

Хотя по своей сути каждый из элементов этого коммуникационного контроля не представлял ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было в Российской империи (контроль прессы, перемещений и т.д.), в целом все эти элементы составляли стройный механизм коммуникационного контроля. В механизме коммуникационного контроля были задействованы как средства массовых коммуникаций, так и элементы иных видов коммуникаций: транспорт, телефонная связь, почтовая связь и т.д. Целей у коммуникационного контроля по большому счету было две: формировать и поддерживать советскую идентичность и обеспечивать "закрепление" человека за социальной и территориальной группой. Формирование и поддержка идентичностей по сути обеспечивали стабильность советского режима. Дело в том, что Советское государство, не будучи организованным по национальному принципу, одновременно не могло тотально строиться по принципу имперскому (т.е. на прямом подчинении других народов), так как ущемление прав других народов, входящих в него, не способствовало добровольному присоединению новых членов. В связи с этим, как указывает Кастельс, СССР выбрал концепцию двойной идентичности, когда, с одной стороны, существовали и признавались этнические/национальные идентичности, а с другой — советская идентичность как база новой культуры нового общества: "Совмещение унитарного проекта Советского государства с признанием разнообразия его территориальных субъектов считалось выражением принципа демократического централизма" [Кастельс, 2000, с. 467].

В такой модели двойной идентичности необходимо было постоянно поддерживать вторую (советскую) идентичность при помощи средств массовой коммуникации, так как она не базировалась на

каком-либо национальном принципе, но на принципе территориальности (замыкание национальных элит преимущественно на территориях их республик) и идеологии, т.е. конструирование идентичности СССР существовало параллельно с процессом прикрепления национальных элит к земле.

На идеологический характер социального контроля в СССР указывает и Овсей Шкаратан, говоря о том, что в советской социальной политике необходимо различать ее "доминирующую составляющую, направленную на защиту интересов номенклатуры..., и "мифотворческую" составляющую, включавшую такие аспекты, как декларация... ведущей роли рабочего класса и приоритетного соблюдения его интересов..." [Шкаратан, Ильин, 2006, с. 69]. Здесь мы видим возрождение принципа, о котором мы говорили применительно к поздней царской политике в области свободы печати, — принципа создания "декораций". Собственно, очевидно, что только мощная идеологическая машина могла обеспечить такую "мифотворческую" роль.

Говоря о роли прессы в Советском Союзе и механизме идеологического контроля, мы должны сделать важную ремарку, касающуюся общественного развития страны. Дело в том, что в СССР построение разветвленной и мощной системы прессы (пик которой пришелся на поздний советский период) шло параллельно с построением нового общества и его иерархий, а также параллельно с формированием и развитием самой практики чтения. В этом смысле коммуникативный контроль средствами массовой коммуникации невозможно было помыслить за рамками советской системы, которая построила новое общество и научила людей читать и писать.

Новое общество строилось практически целиком на развалинах усредненного крестьянского сословия. Именно на его основе формировалась управленческая верхушка (в 1965–1984 гг. выходцы из деревни составляли 64% членов Политбюро) [там же, с. 80], на его основе создавался искусственный рабочий класс (путем переселения крестьян в города в ходе усиленной индустриализации). Наконец, на базе этого же класса позднее создавалась и советская интеллигенция. В результате родилась абсолютно искусственная картина "социальной стратификации", созданная для того чтобы замаскировать реальную стратификацию и отсутствие всеобщности прав. Кордонский пишет: "Классы социалистического общества были идеологическими конструктами, выделенными относительно функции строительства коммунистического общества будущего: рабочие создавали ресурсы для крестьян, крестьяне — для рабочих, а служащие (в сталинском определении социальной структуры — трудовая интеллигенция) координировали потоки ресурсов между рабочими и крестьянами" [Кордонский, 2008, с. 47]. При этом социальная мобильность, по утверждению Шкаратана, была направлена против средних слоев и

интеллигенции в связи с тем, что советская система могла идеологически держаться только на маргинализированных группах населения [Шкаратан, Ильин, 2006, с. 88].

По сути, все общество было построено искусственно на основе одного дореволюционного маргинального сословия, которое ко всему прочему до советского периода было неграмотным. Это сословие ментально и социально было обязано Советскому государству: именно в этом государстве его представители получили образование, научились читать и писать (превратившись в аудиторию СМИ) и стали пользоваться социальными льготами и, пусть иллюзорным, но статусом. По сути, тотальное большинство советского населения не могло помыслить себя за пределами советской системы. Таким образом, Советский Союз создал одновременно СМИ и аудиторию для этих СМИ, что гарантировало некую стабильность всей машине.

Создание аудитории для СМИ было одним из самых эффективных начинаний советского периода. На рубеже веков XIX и XX, по данным переписи населения, 28% считались грамотными (т.е. умели читать — хотя европейская статистика под "грамотными" подразумевала в том числе умеющих писать) [Голотик и др., 2000]. После декрета 1919 г. об обучении грамоте к 1926 г. грамотными было уже 56,6% населения, а в 1959 г. — 99,7%. Практика чтения становится неотделимой от советской социальной модели. СССР в 1980 г. выходит на 2-е место после США по объему издаваемой литературы (81 000 названий в год против 84 000) [Трушков, 1995].

В этой модели общества пресса выполняла функцию поддержки различных идентичностей, при этом иерархически периодическая пресса была выстроена по модели ее же аудиторий. Венцом такой иерархии была общесоветская пресса, способствовавшая созданию и поддержанию советской идентичности, затем шла республиканская пресса, поддерживающая национальные идентичности и осуществляющая функцию закрепления национальных элит на территориях, пресса областей, районов и городов для поддержания территориальной идентичности. При этом существовала партийная пресса (для поддержания советской коммунистической партийной идентичности), социально-классовая пресса (издания для колхозников, рабочих), профессиональная пресса (отраслевая пресса, многотиражки заводов и фабрик). Пресса, как видим, цементировала социальную систему. Системе жесткого коммуникационного контроля соответствовала и модель организации телерадиовещания (проводное централизованное радио и спутниковая система трансляции телевидения в реальном времени).

Помимо идеологической роли коммуникации обеспечивали стабильность и отсутствие социальной и географической мобильности. Как уже отмечалось, советская система не способствовала географи-

ческой мобильности индивидов. Это было связано, во-первых, с необходимостью обеспечить территориальный принцип национальной (этнической) идентичности. Во-вторых, это было связано и со спецификой советской плановой экономики, в которой не было подлинной мобильности рабочей силы, а трудовые ресурсы перераспределялись централизованно. Для обеспечения контроля перемещений Советский Союз активно использовал механизм прописки, а также иные средства коммуникации: транспорт и связь.

Если говорить о транспорте, то необходимо заметить, что транспортный баланс был сильно перекошен в пользу железнодорожного транспорта (по определению более контролируемого, чем автомобильный). Если сравнить по состоянию на 1980 г., к примеру, небольшую Францию и СССР, то мы увидим, что объем пассажирских перевозок в этих двух странах практических идентичен (около 371 млрд пассажиро-километров). При этом объем перевозок грузов в СССР превышал французский в 20 раз [Evolution..., 2000]. По такой же модели функционировала советская система телефонной связи. Она изначально была построена на ограничении технической возможности телефонной коммуникации и на ограниченности использования этого вида связи, в результате чего в 1975 г. насчитывалось всего 7,7 млн аппаратов, а в 1987 г. — 20,2 млн (8% населения). В связи с тем, что телефонная связь в условиях плановой экономики не играла существенной роли в приватном секторе, она не считалась стратегически значимой [Шифрин, 1999]. Таким образом, гораздо важнее было "подключить колхоз", чем подключить его жителей к телефонной связи. Эта специфика советских отчетов о телефонизации, когда отчитывались количеством "подключенных колхозов" (что на поверку оказывалось количеством подключенных председателей), перекочевала в современную практику, когда о телефонизации отчитываются "количеством подключенных населенных пунктов".

При этом в СССР отдавалось предпочтение почтовой связи (очевидно, в связи с тем, что проще было осуществлять контроль корреспонденции, чем контроль телефонных звонков). В СССР существовало 90 000 почтовых отделений против 40 000 в США. Однако объем корреспонденции в СССР составлял около 40 млрд объектов в год, тогда как в США в 1997 г. трафик составил 198 млрд объектов. Однако из этих 40 млрд добрые 30 млрд составляла пресса и лишь 9 млрд приходилось на письма [Cazals, 1999]. За рубежом же основным объектом почтовых отправлений были письма. Следовательно, есть основания полагать, что советская система вообще не была ориентирована на социальный обмен и общение. Таким образом, коммуникационный контроль охватывал в том числе интерперсональные коммуникации, с тем чтобы регулировать процессы трансляции и ретрансляции идеологии между людьми.

В такой социальной и коммуникационной модели, которая выглядела вполне монолитной, было лишь два изъяна:

- она была слишком сильно зависима от коммуникаций и идеологических конструктов;
- эти конструкты очень тесно формировали общестрановую идентичность, что фактически означало распад страны в случае их разрушения.

В связи с таким высоким уровнем зависимости СССР и его социальная система делались чрезвычайно уязвимыми перед идеологически не выдержанным контентом. Таковым в первую очередь был "классово враждебный контент", т.е. зарубежный. Именно поэтому импорт культурных продуктов из-за рубежа был чрезвычайно жестко контролируем.

Однако на протяжении второй половины XX в. Советский Союз, формально оставаясь независимым от Запада государством, все теснее и теснее переплетается с ним, а следовательно, и идеологически чуждые образы постепенно проникают в советское общество. Такая "идеологическая атака" Запада обусловлена, во-первых, тем, что культурные элементы западной модели вошли в состав советской системы (страны Центральной Европы). Идеологически населения этих стран и их исторические корни были слишком обращены к Западу, а СССР и советские специалисты поддерживали связи с этими странами. Во-вторых, СССР в этот период ведет идеологическую борьбу с США на территориях третьих стран, и население, которое участвует в этой борьбе (например, советские специалисты), попадает в точки, где навязываемая СССР идеологическая модель напрямую конфликтует с западной. В-третьих, практики прямого слушания зарубежных радиостанций и формирование "черного рынка" товаров западной культуры напрямую вводили идеологически враждебные советской идентичности элементы. Тристан Маттелар называет такую невиданную идеологическую атаку "аудиовизуальным троянским конем". С его точки зрения, под влиянием внешних образов и "черного рынка" советское правительство было вынуждено постепенно расширять внешние границы того, что дозволено (музыка на радиостанциях, некоторых запрещенных исполнителей легализовали, запрещенные видеомагнитофоны разрешили и т.д.) [Mattelart, 1995]. В итоге, хотя и в узких рамках, формируется полемическая среда или, как ее называет Борис Фирсов, "разномыслие", не свойственное сталинскому времени [Фирсов, 2008].

В результате параллельно регулируемой государственной "общественной сфере", по утверждению Маттелара, формируется "неформальная общественная сфера", представленная небольшими социальными группами диссидентов, у которых складываются свои коммуникативные практики. Они слушают другие радиостанции, дру-

гую музыку, издают другую литературу, обмениваются другими видеозаписями. По мнению Маттелара, именно эта сфера в будущем стала питательной средой для гласности и в этом смысле способствовала распаду советской системы.

Кастельс, напротив, анализируя феномен распада СССР, обращает внимание на то, что советская идентичность, разрушение которой и привело в действие спусковой механизм национальных движений и демонтажа страны, пошатнулась в связи с политикой гласности, которая изначально была политической реформой [Кастельс, 2000]. Так или иначе, оба ученых указывают на то, что в распаде СССР не обошлось без пошатнувшейся под действием массовых коммуникаций идентичности, а это еще одно свидетельство той роли, которую коммуникации играли в СССР.

Вместе с тем несмотря на монолитность коммуникационной модели советского общества, оно вполне вбирает в себя исторические элементы, унаследованные из прошлого:

- государственная инициатива в сфере СМИ и государственная модернизационная политика активно насаждаемая при помощи СМИ;
- средства коммуникаций, служащие в первую очередь государственным, а не частным интересам;
- отсутствие по крайней мере реальной "общественной сферы", где бы происходил настоящий диалог между властью и обществом, но, наоборот, четкое деление на "формальную общественную сферу", позднее ставшую ритуальной, и на узкую "параллельную общественную сферу", напоминающую политические и литературные дебаты XIX в.

Вместо заключения: элементы для анализа современной российской коммуникационной модели

Мы не ставим перед собой цель проанализировать все проявления исторической традиции развития коммуникаций в постсоветский период, так как такая обширная тема, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения. Однако здесь мы представим лишь некоторые из тех проявлений, которые нашли отражение в данной статье.

В целом необходимо констатировать, что ученые-социологи современное российское общество продолжают рассматривать в рамках общества сословно-слоевого типа, а следовательно, и процессы, происходящие в таком обществе, не вполне согласуются с декларируемыми в рыночной экономике [Шкаратан, Ильин, 2006; Кордонский, 2008]. В таком обществе основным мерилом социальной иерархии становится не столько доход, сколько близость к власти, выражаемая количеством привилегий.

В этом смысле современные медиа вполне встроены во властную вертикаль и делят между собой привилегии. По сути, сами эти медиа были сформированы путем нерыночной дистрибуции привилегий от власти к собственникам и создателям таких СМИ. В этом смысле сначала СМИ сами по себе выступали как привилегия, когда они и их доли собственности (как, например, ОРТ) отдавались лояльным крупным собственникам. Позднее этим собственникам для этих СМИ стали выдаваться привилегии властью (как, например, знаменитый "газпромовский кредит" НТВ). Такая модель дистрибуции медиасобственности вполне воспроизводила общероссийскую картину приватизации, в которой крупные куски государственной собственности были привилегией, обмениваемой на лояльность "олигархов" [Очерки..., 1998]. В такой системе власть и собственность объединялись и воспроизводили советскую номенклатурную логику, в которой власть приравнивалась к собственности [Нуреев, 2003].

По такой же модели государство или власть "отдавало" народу гражданские свободы, в том числе пресловутую свободу прессы. Юрий Левада утверждает, что, по сути, предоставление гражданских свобод не было результатом борьбы за них, а очередным "подарком" со стороны власти [Левада, 2005]. Таким образом, "на раздаче" всегда находилась власть. Поэтому, когда властная элита сменилась в начале 2000-х гг., она почувствовала свою легитимность произвести перераспределение медиасобственности и гражданских свобод в свою пользу с целью обеспечения более жесткого властного контроля.

В этом проявилась укорененная модернизаторская традиция власти, которая всегда рассматривала медиа как ресурс, помогающий и способствующий модернизационным изменениям, а также как ресурс, осуществляющий ее, власти, политику. Таким образом, в 2000-е гг. происходят, с одной стороны, перераспределение медиасобственности и переход ее из рук одних олигархов к другим, которые более тесно связаны с властной элитой, а с другой — создание жесткой системы контроля, но скрытой за фасадом "частных собственников" и "рыночных отношений". В этих условиях проявлением государственной воли становится и укрепление государственных СМИ, и прямая инициатива по их созданию, воспроизводящая модель Петра I (когда по мановению лидера государства или близких к нему людей и при непосредственном их участии создаются СМИ).

Однако на протяжении 2000-х гг. на волне "развлечения" и усиление экономики развивается рекламный рынок, что дает власти возможность за "рыночной моделью" коммерческого телевидения скрывать по сути идеологизированную структуру. В этом смысле коммерция, реклама и западный контент служат хорошей внешней маскировкой для "коммодификации лояльности", т.е. покупке лояльности, которая продолжает обеспечиваться либо в обмен на привилегии, либо на деньги. В результате

возникают любопытные дисбалансы, когда два государственных телеканала, используя подаренную властью государственную инфраструктуру "передачи", пользуются самой большой рыночной властью и делят не менее 50% телевизионного рекламного рынка.

Наконец, модель государственного вмешательства и инициативы активно "проникает в массы" и формирует у аудитории четкое отношение к телевидению как к государственному институту, который должен централизованно регулироваться государством [Российское телевидение..., 2007].

Что же касается "общественной сферы", то мы наблюдаем все то же сосуществование двух непересекающихся в публичном пространстве "сфер". Специфику каждой наиболее полно раскрыл социолог Иван Климов, анализируя социальное поведение россиян по отношению к ТВ. В результате выделено два устойчивых архетипа: отношение к телевидению как к прагматическому инструменту (узнать информацию, развлечься и т.д. — такие люди в меньшинстве) и отношение к нему как к тотальному "помощнику", который должен заботиться о людях, объяснять им смысл жизни и т.д., потому что они не в состоянии позаботиться о себе сами [Климов, 2005]. В результате одну "общественную сферу" мы назовем "массовой общественной сферой", в которой безраздельно доминирует телевидение "широкой аудитории" (три федеральных канала и две развлекательных телесети) и чуть в меньшей степени — газеты "широкой аудитории". Эти медиа объясняют людям все, что происходит в мире, с выгодных государству позиций. "Параллельная общественная сфера" представляет собой наследство все тех же "узких общественных дебатов" литераторов XIX в. или диссидентов советских времен. Она представлена несколькими оппозиционными СМИ (одним телеканалом, одной радиостанцией, одной газетой и одним журналом), находящимися под присмотром власти. Цель этой общественной сферы — создание информационного гетто для узкой группы интеллигентов. И если изначально может показаться, что их цель — поднять на борьбу с властью, то в реальности они лишь изолируют раздробленные и лишенные лидеров и институтов маргинальные оппозиционные группы. Главная задача власти — чтобы эти параллельные сферы не пересекались. И пока, судя по всему, выполнение такой задачи вполне эффективно.

Таким образом, при наличии всего внешнего фасада и конкурентной картинки российские медиа воспроизводят все ту же коммуникативную модель, которая была сформирована задолго до советского времени.

Список литературы

Балабанова Е. Особенности российской экономической ментальности // Мир России. 2001. № 3.

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

Бессонова О. Раздаточная экономика как российская традиция // Общест. науки и современность. 1994. № 3.

Георгиевский П. Исторический очерк развития путей сообщения в XIX в. СПб., 1893.

Голотик С., Данилин А., Евсеева Е., Карпенко С. Советская Россия в 20-е гг.: НЭП, власть большевиков и общество // Новый ист. вестн. 2000. № 2.

Жирков Г. История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001.

Засурский И. Массмедиа Второй республики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.

История печати: Антология / Под ред. Я. Засурского, Е. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2001.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ИД ГУ–ВШЭ, 2000.

Климов И. Телевидение: модальности существования // Социс. 2005. № 10.

Кордонский С. Сословная структура постсоветской России. М.: Ин-т фонда "Общественное мнение", 2008.

Левада Ю. Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни. Неюбилейные размышления // Вестн. обществ. мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 2.

Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.

Нуреев Р. Государство: исторические судьбы власти-собственности // Доклад конференции "Поиск эффективных институтов для России XXI века". http://ecsocman.edu.ru/db/msg/129880.html , М.: ГУ–ВШЭ. 2003. Октябрь.

Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991–1997) / Под ред. Е. Гайдара М.: Институт экономики переходного периода, 1998.

Прохоров А. Русская модель управления. М.: ЭКСМО, 2007.

Рантанен Т. Глобальное и национальное. Массмедиа и коммуникации в посткоммунистической России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.

Рашин А. Формирование рабочего класса в России. М.: Соцэкгиз, 1958.

Российское телевидение: между спросом и предложением / Под ред. А. Качкаевой, И. Кирия): В 2 т. М.: Элиткомстар, ГУ–ВШЭ, 2007.

Рябов А. Возрождение "феодальной" архаики в современной России: практика и идеи // Рабочие материалы, Московский центр Карнеги. 2008. № 4.

Тараканова О. История книги. М.: МГУП "Центр дистанционного образования", 2000.

Трушков В. "Перестройка" — зафасадный анализ // Обозреватель. 1995. № 12.

Федоров В. Падение крепостного права в России: Документы и материалы. Вып. 1. Социально-экономические предпосылки и подготовка крестьянской реформы. М.: РУДН, 1966.

Фирсов Б. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы. История, теория и практика. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.

Шифрин М. Оценка экономической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг: Дисс. ... канд. экон. наук. СПб., 1999.

Шкаратан О., Ильин В. Социальная стратификация России и Восточной Европы. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.

Янов А. Европейская и "холопская" традиции в России // Сайт фонда "Либеральная миссия". 2009.http://www.liberal.ru/modules/spaw2/uploads/files/part2.doc,

Янов А. Россия и Европа. 1462–1921: В 3 т. М.: Новый Хронограф, 2009.

Barbier F., Bertho Lavenir C. Histoire des médias: De Diderot à Internet. Armand Colin. P., 2000.

Cazals C. Economie des services postaux. Toulouse: Université des sciences sociales, 1999.

Eizenstein E. The printing revolution in Early Modern Europe. Cambridge University Press, 1983.

Evolution des transports 1970–1998. P.: CEMT, 2000.

Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity, 1989.

Kiriya I. La production des biens culturels en URSS, une "autre" industrie culturelle: Les enjeux de la transformation actuelle // Les enjeux de l'information et de la communication. 2004. Novembre.

Mattelart T. Le cheval de Troie audiovisuel. Le rideau de fer à l'épreuve des radios et télévisions transfrontières. Grenoble: PUG, 1995.

Поступила в редакцию
01.12.2009